



## Р. ГОЛЬДТ

### Последнее убежище личности: Записки Д-503 и психология личности в подлинных дневниках межвоенного периода \*

Роман «Мы» — самое читаемое и одновременно самое неразгаданное произведение Замятина.

Как любое значительное произведение искусства «Мы» представляет читателю разные подходы, разные смысловые уровни. Безусловно обоснованные толкования его как предостережения от советского тоталитаризма десятилетиями заслоняли эстетические и философские аспекты романа, хотя сам автор, даже будучи в эмиграции, не устал подчеркивать, что политический и философский диапазон романа не ограничивается критикой советской идеологии<sup>1</sup>. В последние годы появились наконец серьезные работы, рассматривающие и художественную структуру этого многогранного романа<sup>2</sup>.

\* Впервые: Евгений Замятин и культура XX века. Исследования и публикации. СПб.: РНБ, 2002. С. 37–63. Публикуется по этому изданию.

<sup>1</sup> Напр., в интервью, взятом Ф. Лефевром в Париже, Замятин заявил: «Des critiques muopes n'ont vu dans cette oeuvre qu'un pamphlet politique: Ce n'est pas tout à fait juste, ce roman est un signal d'alarme contre le double danger qui menace l'humanité: le pouvoir hypertrophié des machines et le pouvoir hypertrophié de l'Etat». На русском языке: «Близорукие рецензенты увидели в этой вещи не больше, чем политический памфлет. Это, конечно, неверно: этот роман — сигнал о двойной опасности, угрожающей человечеству: от гипертрофированной власти машин и гипертрофированной власти государства» (Лефевр Ф. Один час с Замятиным, кораблестроителем, прозаиком и драматургом / Пер. В. Познер // Замятин Е. Я боюсь. Литературная критика. Публицистика. Воспоминания. М., 1999. С. 257).

<sup>2</sup> См., напр.: Кольцова Н. Роман Евгения Замятина «Мы» и «петербургский текст» русской литературы // Вопр. литературы. 1999. № 4. С. 65–76; Schmid W. Zamjatins My // Versuch einer unpolitischen Lektüre. Schweizerische Beiträge zum XII. Internationalen Slavistenkongress in Krakau, August 1998. Bern et al., 1998. S. 345–362; и др. Разные заслуживающие внимания подходы представлены в сборниках тамбовских конференций «Творческое наследие Е. И. Замятина: взгляд из сегодня».

Хотелось бы предложить еще один вариант, а именно восприятие романа «Мы» как психологического эксперимента. Таковым он представляется в двух аспектах. Как явствует из писем Замятина Людмиле Николаевне Усовой, роман, с одной стороны, имеет тщательно остра-ненный и замаскированный автобиографический подтекст. С другой стороны, не случайна и сама форма повествования — вымышленный дневник Д-503: это замятинский микротом, фиксирующий тончайшие срезы сознания его героя. Наметить соотношение между писательским воображением и реальными дневниковыми свидетельствами первых двух десятилетий советской власти — вот цель настоящей статьи.

Выбор героя и его профессии — инженера Д-503 — уже внешне оправдывает такой двойной — автобиографический и историче-ский — подход: будучи alter ego инженера-писателя Замятина, Д-503 является представителем профессии, одновременно и высоко ценимой советской властью, и с особым подозрением преследуемой ею. «Инженеры подавлены, политически только терпимы, и неуди-вительно, если сейчас все русские инженеры являются контррево-люционерами», — записывает немецкий инженер В. Келлен 18 ян-варя 1928 г., незадолго до Шахтинского процесса<sup>3</sup>, в свой дневник, недавно обнаруженный в архиве президента РФ с пометками самого Сталина. С другой стороны, В. Бэньямин справедливо замечает в сво-ем московском дневнике 30 декабря 1926 г., размышляя об эстетике советской кинематографии: «Все техническое здесь освященное, ничего не принимается более серьезно, чем техника»<sup>4</sup>. Профессии инженера или писателя безусловно престижны. Так, например, свою мечту продвижения в социальном плане молодой московский комсомолец Степан Подлубный связывает как раз с этими двумя профессиями<sup>5</sup>.

Если мы, однако, хотим выйти за пределы простых отождествле-ний, то непременно возникает вопрос о принципиальной сравнимости

---

<sup>3</sup> Келлен В. «Виденное мной более или менее характерно для всей страны»: Советская Россия конца 20-х гг. глазами немецкого инженера // Источник. 1998. № 4. С. 140. Келлен строго конфиденциально и с просьбой о возвраще-нии передал свои записи командированному в Германию С. Б. Жуковскому, заместителю торгпреда СССР в Германии. Сталин получил записки Келлена в начале мая 1928 г. Шахтинский процесс состоялся с 18 мая по 15 июля 1928 г.

<sup>4</sup> Benjamin W. Moskauer Tagebuch / Mit einem Vorwort von G. Scholem; Aus der Handschrift herausgegeben und mit Anmerkungen von G. Smith. Frankfurt a. M., 1980. С. 80 [пер. на русский мой. — Р. Г.].

<sup>5</sup> Podlubnyj S. Tagebuch aus Mosckau 1931–1939 (Дневник из Москвы) / Aus dem Russischen übersetzt und herausgegeben von J. Hellbeck. München, 1996 (dtv-Dokumente; 2971). С. 90. Запись от 26 авг. 1932 г.

фикционального текста и сугубо личных, внелитературных документов. И филологи, и историки обычно рассматривают дневники как более или менее правдивые вспомогательные документы, как важнейший материал для понимания взаимодействия субъективного и объективного в истории. Дневники используются прежде всего как свод документальных свидетельств об отношении автора к тем или иным событиям. Вопрос об их художественных функциях даже не ставится...<sup>6</sup> Отсутствие последовательной методики изучения источников автобиографического характера даже историками, не говоря уже о филологах, еще совсем недавно было отмечено А. С. Покровским, Вероник Гарро и др.<sup>7</sup>

Несомненно, оппозиция «истина — ложь, соответствие действительности — несоответствие действительности» — основополагающая. Но достаточна ли она? Если отстраниться от событийной канвы и проникнуть в сложную семантическую систему дневниковых текстов, обыденные понятия «истины» и «лжи» скоро размываются в такой степени, что здесь более применима мысль Фуко об относительности понятия «истина». Она не решает вопроса о принадлежности текста к определенной системе общественного дискурса<sup>8</sup>. Историческое начало дневниковой культуры, по мнению Фуко, восходит к попытке индивида реактивировать *нужные* для себя истины. В одной из своих последних работ Фуко рассматривает ведение дневников в широком плане различных «технологий самого себя»<sup>9</sup>. Эти технологии в своей совокупности позволяют индивиду посредством определенных операций так измениться, что он достигает состояния счастья, мудрости или хотя бы принадлежности к определенной социальной группе. Наивное мнение, что дневник отражает реальность, какова она есть

<sup>6</sup> Богомолов Н.А. Дневники в русской культуре начала XX века // Тыняновский сборник. Четвертые Тыняновские чтения. Рига, 1990. С. 148.

<sup>7</sup> Ср.: Покровский А.С. Дневники и письма. Профессионализм историка и идеологическая конъюнктура // Проблемы источниковедения советской истории. М., 1994. С. 169. Издатели антологии «Intimacy and Terror: Soviet Diaries of the 1930s» (New York, 1995) пишут в предисловии (с. XV): «The diary leads us to those unpredictable shores, where choices can still be made, interpretation remains still possible. It delivers a material that is blurred, disparate, discontinuous, irreconcilable» (Дневник ведет нас к таким непредсказуемым областям, где альтернативы все еще возможны, где объяснение остается еще возможным. Он предоставляет материал, который затемнен, несопоставим, прерывен, противоречив. — Р.Г.).

<sup>8</sup> Ср.: Foucault M. Die Ordnung des Diskurses / Mit einem Essay von R. Konersmann. Frankfurt a. M., 1997. P. 23.

<sup>9</sup> Таков мой перевод статьи Фуко, впервые опубликованной в 1988 г. под названием «Technologies of the Self».

или была, может быть легко опровергнуто. Реальность лишь материал для самотворчества.

Таким образом, дневники входят в большой культурный слой, который Ю. Лотман исследовал как «культуру и программу поведения»: широкие слои общества перестают признавать предназначенную им социальную роль и стараются создать себе индивидуальную биографию. С XIX века, как пишет Лотман, «биография становится понятием более сложным, чем сознательно выбранная маска <...> биография — акт постепенного самовоспитания»<sup>10</sup>. Безо всяких иллюзий и Ю. Олеша определяет дневник как особого рода художественное произведение: «<...> нет абсолютно честных дневников. Щадят друзей. Стыдятся. Всегда есть опасение, что дневник может быть прочитан кем-либо. Ловчатся. Шифруют. Мало ли что, ведь и обыск может быть. И от жены тайны бывают <...> Следовательно, и в дневнике применяют беллетристические штуки. Просто — лгут, сочиняют. (И перед потомками хочется казаться умным.) Поэтому и дневник есть произведение беллетристическое» (В. Шкловскому)<sup>11</sup>.

Вывод ясен: и в дневниках реальность подвергается разной степени трансформации. В них переплетаются сознательные и подсознательные ценностные категории пишущих с их селективным восприятием материальной и интеллектуальной действительности — вплоть до откровенного отрицания первой: «Моя голова была полна мыслей об искусстве. Я шел по улицам, стараясь не глядеть на непривлекательную действительность»<sup>12</sup>, — записывает Д. Хармс в 1940 г.

Особенно ярко это селективное восприятие действительности проступает в тоталитарном государстве — здесь оно вынужденное, даже больше: оно становится принципом выживания. Разумеется, в любом государстве общественный дискурс контролируется, ограничивается, управляется. Поэтому ценность дневников именно в том,

---

<sup>10</sup> Лотман Ю. М. Литературная биография в историко-культурном контексте (К типологическому соотношению текста и личности автора) // Лотман Ю. Избранные статьи. Таллин, 1992. Т. 1. 72. Удивительное совпадение терминологии в работах Лотмана и Фуко: *маска, самовоспитание, «искание истины»* — не должно скрывать фундаментальную разницу двух подходов к теории познания: Фуко категорически отрицает наличие какой-либо идеи или даже прообраза за масками «я».

<sup>11</sup> Олеша Ю. «Мы должны оставить множество свидетельств...» / Вст. ст. и публ. В. Гудковой // Знамя. 1996. № 10. С. 171, запись от 7 мая 1930 г.

<sup>12</sup> Хармс Д. «Боже, какая ужасная жизнь и какое ужасное у меня состояние». Записные книжки. Письма. Дневники / Публ., вст. слово и послесл. В. Глоцера // Новый мир. 1992. № 2. (Год записи установлен публикатором).

что они находятся как бы за чертой официальной культуры, отражая ее внутренние механизмы.

Поэтому дневник в тоталитарном государстве — сам по себе факт, вызывающий подозрение. В коллективе всякого рода самосознание — болезнь, как отчетливо знает и Д-503: «Я чувствую себя. Но ведь чувствуют себя, сознают свою индивидуальность — только засоренный глаз, нарывающий палец, больной зуб: здоровый глаз, палец, зуб — их будто и нет. Разве не ясно, что личное сознание — это только болезнь» (с. 195)<sup>13</sup>.

В сознании постреволюционного человека «дневник и записная книжка воспринимались как донос на самого себя; дневника, своего же дневника, боялись»<sup>14</sup>. В страхе живет и Д-503, когда замечает, что его записи все больше отходят от первоначального замысла гимна Единому Государству. В реальных дневниках осознание опасности находит свое отражение самым различным образом. Иногда оно полностью замалчивается, иногда более или менее открыто обсуждается — летописец становится «недописцем». К новому 1926-му году горный инженер С. Протопопов замечает: «Уже не встречаю новый год за писанием дневника. Жалею, что не вполне откровенно в нем пишу. Прежде боялся обыска и жандармского прочтения. И теперь не могу отделаться от умолчаний, хотя и революция. Но вот Зиновьев и Каменев, Лашкевич и Сокольников говорят, что нет свободы. Какие свободолюбцы! Свобода нужна им лишь для себя»<sup>15</sup>.

<sup>13</sup> Здесь и далее цитаты приводятся по изд.: *Замятин Е.* Соч.: В 4 т. Munchen, 1970–1988. Т. 3, — с указанием страниц в скобках. В историческом плане распространение дневников среди пиетистов можно рассматривать и как сознательное отграничение личного религиозного поиска от института церкви.

<sup>14</sup> Глоцер в комментариях к изд.: *Хармс Д.* «Боже, какая ужасная жизнь и какое ужасное у меня состояние». С. 223. Кроме того он пишет, что «на обысках забирали прежде всего дневники и записные телефонные книжки. Как известно, они лучше всего очерчивали для карательной власти круг интересов и знакомств арестованного». «Заметно выходил из употребления такой предмет, как записная книжка с адресами и телефонами...» — писал в своих воспоминаниях о Хармсе хорошо знавший его в последние годы искусствовед В. Петров (Там же). Дневники «воспринимались по большей части как потенциальные вещественные доказательства, свидетельствовавшие не в пользу их владельца» (*Чудакова М.* Архивы в современной культуре // Наше наследие. 1988. № 3. С. 143–144). Частично это явление — часть общего «исчезновения личной жизни» в СССР, как заметил побывавший в Москве В. Бэньямин (*Benjamin W. Moskauer Tagebuch / Mit einem Vorwort von G. Scholem; Aus der Handschrift herausgegeben und mit Anmerkungen von G. Smith. Frankfurt a. M., 1980. S. 123, запись от 14 янв. 1927*), и даже домашнего быта (Там же. С. 39, запись от 15 дек. 1926).

<sup>15</sup> *Протопопов С.* «Как сознаю, так и пишу...». Из дневников и писем / Публ. и комм. Е. Ю. Литвин // Вестн. гуманит. науки. 1995. № 3 (23). С. 36.

Самые сложные для исследователя, но одновременно и весьма содержательные случаи — словесная маскировка перед внутренним (порой даже неосознанным) или внешним цензором. Редко расхожде-ние семантических уровней замысла и записанного принимает столь откровенный характер как у Н. Устрялова, побывавшего в 1937 г. на Великую Пятницу на литургии. Он описывает хор и песнопения, случайно упоминает, что и в прошлом году был в церкви (чего, кстати, нет в дневнике 1936 г.), — и, как бы опомнившись, испуганно пре-вращает собрание верующих в демонстрацию торжества сталинской конституции: «Нет, здесь — обычная аудитория советской Москвы.

---

В письме И. В. Жилкину от 10 февр. 1920 г. Протопопов заявляет: «Письма и дневники у нас еще не удел любителей писать; письма и дневники ценны откровенностью, а это у нас еще — недопустимая роскошь. Но делать нечего: как сознаю, так и пишу, стараясь говорить, что думаю» (Там же. С. 32).

Н. Устрялов допускает, что «современникам сейчас — не до записей», хотя время требует их: «Захватывающе увлекательна эмпирика великой эпохи. Живописна сложная и, зачастую, “противоречивая” динамика бегущих дней. Вдохновенны одинаково ее диалектическая противоречивость и ее диалектическое единство. Историк зафиксировал ее основную направленность, отметит, конечно, и ряд ее деталей. Но консервировать живой и неповторимый *аромат* ее вряд ли ему удастся. Это — дело и долг современников. Но современникам сейчас — не до записей» («Служить Родине приходится костями...». Дневник Н. В. Устрялова 1935–1937 гг. // Источник. 1998. № 5/6. С. 60, запись от 5 дек. 1936 г.).

Некоторые исследователи справедливо отмечают, что иные дневники, напротив, писались «из обостренного страхом чувства самосохранения — с наивным расчетом отвести беду в случае обыска и ареста» (*Оскоцкий В.* Дневник как правда // *Вопр. литературы.* 1993. № 5. С. 9). Эти дневники «велись как раз с прямым расчетом на читателя, причем непрошеного. Но зато определенного пошиба — соглядатая, доносчика, следователя» (Там же). Как историческое доказательство тезиса Оскоцкого можно привести записку Н. Устрялова из тюрьмы. После ареста в июле 1937 г. он надеялся как раз на свои дневники, которые должны были доказать его лояльность: «Милая Наташа, пожалуйста, пришли с посланным дневники» (Цит. по введению в дневники: «Служить Родине приходится костями...». Дневник Н. В. Устрялова 1935–1937 гг. С. 4). Вывод автора введения: именно поэтому нельзя усомниться «в искренности его дневниковых записей» (Там же) — алогичен. Наоборот, дневники несомненно писались отчасти для реабилитации в случае репрессий.

Поддельные или переписанные дневники или мемуары, конечно, не привилегия СССР. Так, напр., еще П. А. Вяземский 13 июня 1823 г. заметил: «Записки Дмит[риева] содержат много любопытного и на неурожайе нашем питательны; но жаль, что он пишет их в мундире» (*Вяземский П. А.* Записные книжки (1813–1848) / Изд. подготовила В. С. Нечаева. М., 1963 (Лит. памятники). С. 67–68). Довольно шумевшим случаем было и разоблачение знаменитых «дневников» швейцарского дипломата Карла Буркарта о его роли в событиях 30-х и 40-х гг. XX в.

Думается, эти люди <...> красный праздник 1 мая считают не менее *своим* праздником, нежели старую, добрую Пасху. Не начинается ли мало по малу процесс действительного воплощения Сталинской Конституции?»<sup>16</sup>.

Не напоминает ли эта запись сцену из романа «Мы», когда Д-503 в ожидании обыска размышляет о судьбе своего дневника, ставшего как бы уже частью его самого: «Спрятать? Но куда: все — стекло. Сжечь? Но из коридора и из соседних комнат — увидят. И потом я уже не могу, не в силах истребить этот мучительный — и может быть самый дорогой мне — кусок самого себя»<sup>17</sup>. Инженер «прыгающим пером» прибегает к способу Устрялова: наскоро дополняет текст настолько истерическим подражанием официальной пропаганде, что у «Хранителей» на мгновение возникает даже мысль о пародии: «Благодетель — есть необходимая для человечества усовершенствованнейшая дезинфекция, и вследствие этого в организме Единого Государства никакая перистальтика...» (с. 220).

Некоторые исследователи делают вывод, что дневники советского периода из-за самоцензуры или даже переписывания не представляют интереса<sup>18</sup>, однако с этим вряд ли можно согласиться. Здесь, видимо, необходима особая техника дешифровки. Вспомним, например, ту единственную фразу, которую К. Чуковский посвящает в дневнике гибели зятя: «Сегодня я написал Лиде о Матвее Петровиче»<sup>19</sup>. Что

<sup>16</sup> «Служить Родине приходится костями...». Дневник Н. В. Устрялова 1935–1937 гг. С. 79, запись от 30 апр.

<sup>17</sup> Не меньше боится герой, что ждущая его Ю смогла случайно прочесть последние записи: «Я увидел на столе листок — последние две страницы вчерашней моей записи: как оставил их там с вечера — так и лежали. Если бы она видела, что я писал там...» (с. 230).

<sup>18</sup> «<...> со второй половины двадцатых годов проблема дневниковости практически теряет свое значение. Симптоматичным в этом отношении было уничтожение Булгаковым дневника, изъятого у него во время обыска и прочитанного в недрах ГПУ. <...> Особенно это касалось дневников, что приводило к нередкой их фальсификации (показательно в этом смысле распространившееся в тридцатые годы переписывание дневников прежних лет). Соответственно исчезает и сама проблема соотношения дневников и “чистой” литературы» (Богомолов Н. А. Дневники в русской культуре начала XX века // Тыняновский сборник. Четвертые Тыняновские чтения. Рига, 1990. С. 156–157).

<sup>19</sup> Чуковский К. Собр. соч.: В 6 т. М., 1965–1969. С. 155, запись от 12 дек. 1939 г. Внешний признак потрясения: дневник обрывается с этого дня и записи возобновляются лишь 1 апр. 1940 г. Душевное состояние Чуковского, однако, все еще крайне подавленное: «Мое рождение. 4 часа ночи. Бессонница <...>. Состояние мое душевное таково, что даже предстоящая мне операция кажется мне отдыхом и счастьем» (Там же).

без знания политического фона будущего историку может показаться бесчеловечной лаконичностью, вызывает глубокие эмоции в читателе, знающем исторические обстоятельства.

Может ли среди всех этих масок, порой даже не осознанных авторским «я», вообще выкристаллизоваться что-то похожее на «истину»? Можно ли вообще *ex posteriori* установить такой феномен как общественное самосознание?

Перу Л. Гинзбург принадлежит замечательное разделение сограждан на четыре группы: «Были тогда честно совпадающие, были самовнушаемые, были цинические или предавшиеся резиньяции»<sup>20</sup>. Это как бы программа Замятина для создания своего героя: и Д-503 колеблется между этими четырьмя духовными состояниями, но скорее всего он «самовнушаемый».

Вопреки мнению исследователей, безоговорочное совпадение Д-503 с системой в первых записях — мнимое. Его выдает лексика, точнее четкое распределение двух словесных полей в связи с восприятием действительности. С самого начала у него два способа видения: отображение действительности в смысле хроники (*копия — отпечатать — фотографическая пластинка*) и осмысление (*видеть — понимать*). Но «осмысление» Д-503 на самом деле капитуляция, попытка приспособления к действительности.

Самовнушение начинается со второй записи, когда инженер проповедует красоту техники и несвободы. Но автор дневника еще не уверен в совпадении проповеди с действительностью: будучи на эллинге, он «вдруг увидел» давно знакомые станки и — в том же абзаце — «вдруг увидел» всю красоту сооружения (с. 115). Начинается процесс идеологической зарядки увиденного: «И дальше — сам с собою: почему — красиво?» (с. 115).

Тот же процесс повторяется в послеобеденный «личный час»: «И вот, так же, как это было утром, на эллинге, я опять увидел, *будто только вот сейчас первый раз в жизни*, — увидел все...» (с. 116; курсив мой. — Р. Г.). Замятин здесь как бы разворачивает теорию Шкловского о «новом видении» вещей, только с тем отличием, что у его героя не эмансипаторный взгляд, а ищущий гармонию примирения. Но уже второй попытке самовнушения препятствует воспоминание о прошлом — о картине в музее.

---

<sup>20</sup> Гинзбург Л. Я. Человек за письменным столом. Эссе. Из воспоминаний. Четыре повествования. Л., 1989. С. 315. Далее она пишет: «Некоторые стремились сказать не максимум того, что побуждало сказать тождество мнений. Градации зависели от степени талантливости или бездарности, от первичных социальных навыков, от социальной ситуации. Даже от умения выражаться».

Оказывается, конгруэнция идеологизированного сознания героя с действительностью кажущаяся. Она лишь искомая цель технологии самого себя в смысле Фуко: пишущий дневник ищет не отвлеченную истину, а *нужную* ему житейскую истину в определенных социально-политических условиях. Этот факт придется держать в памяти, когда будем разбирать аутентичные дневники. Но технология Д-503 чревата катастрофой. В пока едва заметном несоответствии между желанием слияния с обществом и истинным «я» коренится внутренний конфликт Д-503, приводящий к полному раздвоению своего «я».

Чуткость Замятина к проблеме личности рождалась не из интеллектуального прозрения, а из собственного опыта. Замятин, прошедший все стадии скептицизма, отречения от религии и ее суррогатов, изверился и в самом себе он ощущал соблазн слепо отдаться идеологическому авторитету, власти, даже иррациональной. Образ еретика — выстраданный, а не врожденный, и поэтому «Мы» — одновременно сугубо личный и сугубо социальный документ, не потерявший актуальность.

Ключевое значение для понимания психологии Замятина имеет признание в письме к Л. Н. Усовой от 9 апреля 1906 г. — как бы прообраз максимы Д-503, утверждающего, что «естественный путь от ничтожества к величию: забыть, что ты — грамм и почувствовать себя миллионной долей тонны» (с. 187): «Расколотый я человек, расколотый на двое. Одно “я” хочет верить, другое не позволяет ему <...>. Одно — мягкое, теплое, другое — холодное, острое, беспощадное, к<a>к сталь <...>. И вдруг революция так хорошо встряхнула меня. Чувствовалось, что есть что-то сильное, огромное, гордое, — к<a>к смерч, поднимающий голову к небу — ради чего стоит жить <...>. Когда что-то подхватывает, к<a>к волна, мчит куда-то и нет уже своей воли — к<a>к хорошо! Вы не знаете этого чувства? Вы никогда не купались в прибое? — А мне вспоминается сейчас мое последнее купание в Яффе. — Вал огромный, мутно-зеленый, покрытый белой косматой пеной; катится медленно, все ближе, ближе — и вдруг с ревом хватает в свои мощные объятия, бросает, комкает, несет... Чувствуешь себя маленькой щепкой в его могучей власти, без силы, без воли, находишь какое-то странное удовольствие от ощущения своей ничтожности и бессилия, удовольствие — отдаться с головой во власть этого чудовища теплого, сильного»<sup>21</sup>.

<sup>21</sup> Рукописное наследие Е. И. Замятина / Сост. Л. И. Бучина, М. Ю. Любимова. СПб., 1997. С. 22, 23. Ср.: *Podlubnyj S. Tagebuch aus Mosckau 1931–1939*. P. 165, запись от 25 сен. 1934 г.

Замятин 1906-го года предвосхищает послевоенные наблюдения столь чуждых ему мыслителей как Кракауер в Германии или В. Розанов в России. Выявляются разные формы разложения личности в XX веке, и оказывается, что значение романа «Мы» выходит далеко за рамки советской системы. В предисловии к «Апокалипсису нашего времени» Розанов утверждает, что в европейском, то есть и в русском, человечестве «образовались колоссальные пустоты от бывшего христианства; и в эти пустоты проваливается все: троны, классы, сословия, труд, богатства <...> но все это проваливается в пустоту души, которая лишилась содержания»<sup>22</sup>.

В «официальных», предназначенных для публикации текстах Замятина, разумеется, таких признаний нет. Но есть намеки. Так, в эссе об А. Франсе Замятин как будто имеет в виду и себя, когда размышляет о том, какая требуется сила души, «чтобы быть неверующим, скептиком, релятивистом — и все-таки жить полной жизнью...»<sup>23</sup>, называя это «испытанием холодом», которое страшнее испытания огнем.

Но насколько честна, откровенна тогда вообще «исповедь» инженера? Несмотря на подозрительно назойливые уверения его в том, что он вполне откровенен, как раз якобы абсолютно объективный математизированный его язык оказывается маской. Начинается дневник записью о том, что этот текст «будет производная от нашей жизни, от математически совершенной жизни Единого Государства...» (с. 114). Но одно только наличие Хранителей свидетельствует о противоположном. Более того: сама математическая метафора ложная. «Производная» указывает на то, что жизнь в Едином Государстве — дифференцируемая функция. Как известно, всякая дифференцируемая функция непрерывна, и смысл дифференциального исчисления как раз в изображении процессов, а не состояний. Значит, Д-503 или неквалифицированный инженер, или заранее знает, что он опишет развитие, процесс: истина математических метафор оказывается глубже авторского замысла. В редкие моменты Д-503 все-таки дает себе отчет в своей неискренности: «Я пересмотрел свои записи — и мне ясно: я хитрил сам с собой. Я лгал себе...» (с. 138), — пишет он, когда вновь заводит речь о своей «болезни».

Семантическая структура романа интересна тем, что как раз математика, постоянная величина политически-научного жаргона

---

<sup>22</sup> Розанов В. В. Избранное / Вступ. ст. Г. Штамплера и Е. Жиглевич. Мюнхен, 1970. С. 444. Ср.: *Kracauer S. Die Wartenden // Aufsätze 1915–1926. Frankfurt a. M., 1990. S. 162, 167.*

<sup>23</sup> Замятин Е. Собр. соч. Т. 4. С. 196.

того времени<sup>24</sup>, становится кодом подсознания, позволяя проникнуть в пласты сознания, лежащие даже вне сферы сказанного, — практически неисследованная сторона романа.

Еще два примера. Можно ли доверять инженеру, путающему элементарные основы теории вероятностей и не умеющему правильно исчислить вероятность попадания в роковой аудиториум 112 (122)? Можно ли доверять инженеру, который утверждает, что «человеческая история идет вверх *кругами* — как аэро» (с. 188, курсив мой. — Р.Г.). Или это просто небрежность Замятина? Нет, он намеренно сеет сомнения. Для этого есть случайная, косвенная, но тем более показательная улика — дневник К. Чуковского. Побывав на чтении Замятина, он записывает 20 января 1923 г.: «Тихонов — как инженер — заметил Замятину, что нельзя говорить: *он поднялся кругами*; кругами подняться невозможно, можно подняться спиралью...»<sup>25</sup>. Но, как видно, Замятин «ошибки» своей не устранил<sup>26</sup>.

Анализ математической образности романа проливает свет на центральный феномен самосознания советского гражданина, который хотелось бы назвать «семантической бездомностью». Д-503 панически боится любой неопределенности. Он «с трудом выносил этот хаос» (с. 130) в Древнем Доме, страшился иррационального корня  $\sqrt{-1}$  и т. д. Его убежище — якобы кристальный язык математики. Но на самом деле он — лишь одна из разновидностей идеологического жаргона. Раздвоение его сознания, катастрофа,

<sup>24</sup> Математические метафоры, доказывающие объективность советского строя, пользовались большой популярностью и входили даже в текст дневников: напр., сталинские «Вопросы ленинизма» для Н. Устрялова являются «алгеброй революции» («Служить Родине приходится костями...». Дневник Н. В. Устрялова 1935–1937 гг. С. 18, запись от 20 сент. 1935 г.). Впрочем, формула «алгебра революции» принадлежит А. И. Герцену. Так он в 1855 г. определил философию Гегеля: «...Она необыкновенно освобождает человека и не оставляет камня на камне от мира христианского, от мира преданий, переживших себя» (*Герцен А. И.* Былое и думы // Герцен А. И. Собр. соч.: В 9 т. М., 1956. Т. 5. С. 20).

<sup>25</sup> *Чуковский К.* Собр. соч. С. 231. Е. Ц. Чуковская предполагает в своих комментариях (Там же. С. 497), что речь идет о чтении «Общества Почетных Звонарей». Однако цитата и общая характеристика сочинения явно подходит к «Мы», тем более потому, что сам Чуковский записывает более чем год спустя, 16 апр. 1924 г., что Замятин еще не окончил «Общества»: «Замятин тоже замаялся очень. Он пишет пьесу для 1-й Студии. Переделывает “Островитян”» (Там же. С. 271).

<sup>26</sup> Маловероятно, что рукопись, на основе которой было осуществлено первое печатное издание романа, тогда уже находилась за рубежом.

становятся тогда неизбежными, когда он узнает несоответствие действительности и этой знаковой системы: «Всякому уравнению, всякой формуле в поверхностном мире соответствует кривая или тело. Для формул иррациональных, для моего  $\sqrt{-1}$ , мы не знаем соответствующих тел <...>. Но в том-то и ужас, что эти тела — невидимые — есть...» (с. 177).

Если перевести это высказывание на лингвистические понятия и ввести вместо уравнения — соотношение *языка и действительности*, вместо формулы — *означающее* и вместо кривой и тела — *означаемое*, то выявляется окончательное осознание несоответствия принятого языкового кода окружающей действительности. Не случайно Д-503 в той же 17-й записи впервые засомневался в понятии «счастья», как его определяет Единое Государство. Трагедия Д-503 в том, что он ищет причину этой неадекватности не в недостатках кода, а в своей мнимой неспособности правильно пользоваться кодом, отвергающим существование души, которое Д-503 как раз начинает постигать.

Часовая Скрижаль, Единое Государство, с одной стороны, и неопределенность центрального идеологического кода, с другой — эти феномены, на первый взгляд, никак не сочетаются. Однако это противоречие мнимое, даже если принять во внимание окружающую Замятина действительность. Приходится окончательно расстаться с бытующим — особенно на Западе — мнением, будто после свержения Временного правительства и создания РСФСР формировалось идеологически монолитное, «единое» советское государство. Более пристальный взгляд показывает многочисленные и порой резкие программные сдвиги и, впоследствии, колебания идеологического маятника, вследствие чего могли не только модифицироваться, а даже полностью переосмысливаться термины и тексты. Д-503 постоянно встречается с этой проблемой по отношению к прошлому<sup>27</sup>; но такие переосмысления, в том числе и гротескные, были внутренне присущи и постреволюционному государству<sup>28</sup>. Показательный пример —

---

<sup>27</sup> Напр., при объяснении «Операционного» Д-503 опасается сопоставлений с практикой инквизиции, см. 15-ю запись (с. 164).

<sup>28</sup> Одним из первых проанализировал этот феномен М. Геллер: «Замятин первым засвидетельствовал в литературе факт рождения нового — советского — языка <...>. Слово скрывает реальность, создает иллюзию, сюрреальность, но одновременно сохраняет связь с действительностью, кодируя ее. Советский язык — кодовая система, знаки которой определяются Высшей Инстанцией. Смысл этих знаков сообщается всем, кто пользуется языком, но — в разной степени» (Геллер М. Машина и винтики. История формирования советского человека. Лондон, 1985. С. 260–261).

история запрещения детской поэмы К. Чуковского «Крокодил» после убийства С. М. Кирова, особенно из-за строк о Ленинградском зоологическом парке: «Там наши братья, как в аду — / В Зоологическом саду. / О, этот сад, ужасный сад! / Его забыть я был бы рад. / Там под бичами палачей / Немало мучится зверей». 29 декабря 1934 г. отчаявшийся Чуковский записывает в дневник: «Все это еще месяц тому назад казалось невинной шуткой, а теперь после смерти Кирова звучит иносказательно»<sup>29</sup>.

Результат — бытовая неуверенность человека как следствие семантической неопределенности не вполне установившегося идеологического жаргона. И как легко, как часто семантические сдвиги переходили в личные трагедии. Д. Хармс проявляет тонкое чутье, когда он в 1929 г., году «великого перелома», записывает: «ВСЕ СЛОВА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. Сейчас еще не устоялся наш быт»<sup>30</sup>.

Но советский быт еще долго оставался нестабильным: советское общество было достаточно динамичным и продолжало свое гераклитово течение. В роковом 1937-м году Н. Устрялов за несколько недель до собственного ареста наблюдает за исчезновением учебников: «Кумиры дня погружаются в быстрые сумерки. Идейки, имеющие хождение сегодня, проваливаются за ночь в тартарары. В умах смятение. В студенческих душах — тревога: “дайте учебник, если старый, если вчерашний не годится”. Но кто решится писать новый учебник, когда “панта рей” и каждый печатный листок грозит оказаться завтра убийственной уликой? <...>. И снова виснет вопрос о “стабильных учебниках” — на зло гераклитовой нашей, нашей очаровательной действительности...»<sup>31</sup>.

Здесь, кстати говоря, проявляется существенное отличие от нацистской Германии, где роли преследуемых групп были распределены с жесточайшей и неизбежной аккуратностью. Не то в СССР, где практически каждый с минуты на минуту мог из уважаемого товарища превратиться в бесправного вредителя. Если вспомнить роман «Мы», то и там неизвестно, кто и в какой степени стоит на почве Единого Государства, кто на позициях мефи. Разговор между

<sup>29</sup> Чуковский К. Собр. соч. С. 114–115.

<sup>30</sup> Хармс Д. «Боже, какая ужасная жизнь и какое ужасное у меня состояние». С. 195 [б. д.]. Прописными буквами в источнике.

<sup>31</sup> «Служить Родине приходится костями...». Дневник Н. В. Устрялова 1935–1937 гг. С. 73, запись от 7 марта 1937 г. («Панта рей» — «все течет», все изменяется (*греч.*). Выражение отражает сущность учения древнегреческого философа Гераклита из Эфеса, известное в передаче Платона и Аристотеля).

Д-503 и R-13 в 11-й записи — тонкий анализ языкового поведения в условиях тоталитаризма.

Одним из самых кардинальных аспектов «семантической бездомности» является потребность в само- или переопределении, особенно, когда нет так называемой «чистой советской биографии»: «<...> не без зависти смотрю на людей с “чистой советской биографией”. Порок рождения? Среды? Воспитания?»<sup>32</sup>, — спрашивает себя Н. Устрялов. Но у кого она была?

Разумеется, такая потребность не возникла впервые только после Октябрьской революции. Исторически она присуща любому обществу и усиливается в кризисные моменты, когда нет общепризнанного авторитета или он после переоценки ценностей (революции, поражения, оккупации) еще не устоялся. В России потребность самоопределения заметно возросла вместе с бурным переустройством общества в XIX веке и с появлением разночинной интеллигенции. Меняются не только ощущение времени, но и восприятие самого общества; прерывное заменяет непрерывное, разнородное — однородное. В подобных исторических ситуациях наиболее чуткие наблюдатели общества часто те, которые скептически относятся к переменам, а именно консерваторы. Вот что пишет И. Киреевский в эссе «Девятнадцатый век» (1832): «Прежде характер времени едва чувствительно переменялся с переменою поколений; наше время для одного поколения меняло характер свой уже несколько раз <...>. Сравните прежние времена с настоящим; раскройте исторические записки, частные письма, романы и биографии прошедших веков: везде во всякое время найдете вы людей *одного времени*. При всем разнообразии характеров, положений и обстоятельств, каждый век представит вам один общий *цвет* <...>. Но взгляните на Европейское общество нашего времени: не разногласные мнения одного века найдете вы в нем, нет! вы встретите отголоски нескольких веков, не столько *противные* друг другу, сколько *разнородные* между собою»<sup>33</sup>.

В русских мемуарных источниках XIX века любопытным образом переплетаются две традиции, которые в потускневшей форме остаются в силе и в XX веке. Первая из них — опыт христианского самонаблюдения и — познания по образцу античных мыслителей,

---

<sup>32</sup> «Служить Родине приходится костями...». Дневник Н.В. Устрялова 1935–1937 гг. С. 24, запись от 12 нояб. 1935 г.

<sup>33</sup> Киреевский И.В. Девятнадцатый век // Киреевский И.В. Полн. собр. соч.: В 2 т. / Под ред. М. Гершензона. М., 1911. Т. 1. С. 283. Репринт Westmead, Farnborough, Hants (England), 1970. С. 86.

прежде всего — Сенеки. Прообраз — конфессии Августина. В эту традицию все чаще проникают современные литературные (особенно романтические) топосы. Такую «эстетизацию» ценностных категорий можно встретить во всех социальных группах, включая духовенство.

Наглядный пример тому — дневник студента и впоследствии профессора и ректора Московской духовной академии А. В. Горского. Он начинается в 1830 г. вопросом «Что такое я?» и продолжается типично романтической оппозицией *природа* (свободно-духовное развитие личности) — *цивилизация* (притесненность). Программа дневника заключается во фразе «Цель сей записки есть усуглубление внимания к самому себе и наблюдения за собою как во всех отношениях, так в особенности со стороны нравственной»<sup>34</sup>. Ярче всего отражают стратегии и процессы самоопределения юношеские дневники. И дневник Горского, с возрастом автора и соответственно определившимся статусом, принимает все больше характер церковной хроники, т. е. формы дневника, преобладающей в XVI–XVIII вв.

После революции самотворчество поверяется масштабом двух новых ценностных ориентиров: классовой принадлежности и модели небывалого еще в истории «советского» человека. «Советскость» в привычном смысле, т. е. отречение от национальной определенности и менталитета, частично вытесненных во второй половине 30-х гг. т. н. «народностью», еще не существовала. В этой ситуации всякая авторефлексия вызывала, подобно осознанию «первородного греха» (разумеется, вне метафизического контекста), угрызения совести, подавленность, чувство неполноценности у индивида по отношению к «институту правдивости» — государству. Где падают Боги, там царствуют демоны.

Замятин воплощает в художественную форму зарождающийся государственный социально-политический биологизм эпохи, демонстрируя на примере капли «лесной крови» в жилах Д-503, все чаще мешающей несчастному инженеру логически мыслить, идеологическую неоднородность героя. Внешние доказательства — его покрытые волосами «лапы», которые он старается скрывать, как его реальные современники «кулацкое» или дворянское происхождение: «Терпеть не могу, когда смотрят на мои руки: все в волосах, лохматые — какой-то нелепый атавизм» (с. 118). Гротескное свое развитие этот биологизм находит в недооцененном до сегодняшнего дня водевиле «Африканский гость» (1929).

<sup>34</sup> Дневник А. В. Горского / С прим. прот. С. Смирнова. М., 1885. С. 1.

Фантастики в этих размышлениях мало. В реальных дневниках 1920-х и 30-х гг. «нелепым атавизмом» ощущается не только социальное, а также этническое инородство. Исходным пунктом нередко является чувство вины — кстати говоря, чаще всего мнимой — и сопровождающий его самоанализ. Обдумываются даже «грешные» в политическом смысле сны. Один из кающихся мечтателей-грешников — Юрий Олеша: «Я никогда не был в Европе. Побывать там, совершить путешествие в Германию, Францию, Италию — моя мечта. Вижу во сне иногда за границу. Что же это за мечта? Быть может — реакционная? Попробую разобраться в этом»<sup>35</sup>. В дальнейшем Олеша проводит «самоанализ», размышляя над своим детством в Одессе, описывая местность, впечатления. Как и Д-503, ему странным образом приходит мысль о своей генетической неоднородности: «В Одессе я привык к латинскому S и L. И по происхождению я поляк-славянин, но католик»<sup>36</sup>.

«Славянин, но [минус православный]», как написал бы инженер Д-503. Олеша этим доказывает, что в тогдашнем сознании не просто советская модель самотворчества заменила старую, но что обе могли в разной степени сосуществовать, терзая индивида противоречивыми постулатами. Олеша не замечает, что православие как вообще любое вероисповедание перестало быть определяющим элементом новой модели «я». Сны о Европе вызывают у Олешы угрызения совести, и он не знает другого выхода, как приписывать их своей генетической привязанности Западу<sup>37</sup>. Весьма любопытна с психологической точки зрения запись, сделанная Олешей через десять лет после цитированной, 28 октября 1940 г., о польском футбольном игроке Габовском, который после оккупации восточной Польши оказался вдруг гражданином СССР. Олеша вовсе не размышлял о себе или о своем происхождении и, наверное, даже не видел

---

<sup>35</sup> Олеша Ю. «Мы должны оставить множество свидетельств...» / Вст. ст. и публ. В. Гудковой // Знамя. 1996. № 10. С. 162, запись от 20 янв. 1930 г. Или в другом месте: «Иногда думаю: ах, как хорошо жилось бы мне, буржуа, в буржуазном обществе! Начинаю ненавидеть то, что окружает меня. И тогда вдруг спохватываюсь и ору себе: как? неужели? Неужели я против этой величайшей идеи?» (Там же. С. 171, запись от 7 мая 1930 г.).

<sup>36</sup> Там же. С. 163, запись от 20 янв. 1930 г.

<sup>37</sup> В связи с этим нередкое удивление, даже восхищение Олешы своей ролью призванного властью представителя советской интеллигенции представляется в новом свете. Центром «досоветской» памяти, его «Древним Домом» во всем дневнике остается родная Одесса. Роль Одессы как мультиэтнической родины многих ленинградских и московских писателей в их дневниковых записях, в т. ч. и Чуковского, — тема отдельной работы.

связи с самим собой, когда писал: «Габовский явно не русского вида человек, с волосами, причесанными на пробор, чистенький. Ему сочувствуешь <...>. Все время думаешь о том, как он относится к тому, что вдруг, так неожиданно для себя, после войны и того, что его государство потеряло самостоятельность, он стал играть в советской команде»<sup>38</sup>. В то же самое время советский писатель польского происхождения Олеша, так неожиданно для себя занявший позицию видного деятеля культуры, уже перестал играть в команде советских писателей...

Своеобразная проблема — еврейское самопознание в раннем СССР. Показательны переживания молодого, даже еще не шестнадцатилетнего, Д. Самойлова после посещения еврейского вечера, посвященного столетию со дня рождения Менделеева Мойхер-Сфорима. Самойлов родился уже после революции, и его дневник на самом деле можно отнести к ранним документам самопостроения поколения, исключительно воспитанного в новом духе.

После спонтанной идентификации с собравшимся еврейским обществом следует сразу же оговорка. Оговорка выявляет различие между «убеждением» и «духом»; последнее — скорее метафизическое, чем марксистское понятие. В конце вводится категория «сердце» для соотношения со стариной: «Странные, новые и приятные чувства испытывал я. Это был почти единственный раз, когда я почувствовал свой народ и глубокая теплота к нему зародилась в моем сердце. В сущности у меня нет народа. Дух еврейства чужд, непонятен, далек мне. По убеждениям я — интернационалист, а по духу <...> тоже»<sup>39</sup>.

Авторское сознание переводит все затрагивающие национальную принадлежность чувства в историческое, то есть безопасное прошлое: «И что-то мило мне в этих грустных еврейских песнях и что-то приятное есть в этом особенном еврейском юморе. Я люблю эти молитвы, которые читает по утрам дедушка, эти легенды, которые я слышал в детстве; люблю я и древних седобородых старичков и маленьких, светлых, хохлатых человечков. И все-таки далек мне этот народ.

---

<sup>38</sup> Олеша Ю. «Мы должны оставить множество свидетельств...» С. 179, запись от 28 окт. 1940 г.; курсив мой. — Р. Г.

<sup>39</sup> Самойлов Д. Дневник счастливого мальчика / Вступ., подгот. к печати и публ. Г. Медведевой // Знамя. 1999. № 8. С. 167, запись от 6 марта 1936 г. Двойственное отношение к своим еврейским корням подтверждает мысль Л. Флейшмана, что идея самоопределения и возобновления национальной еврейской культуры начинается в принципе только после революции 1905 г. Ср.: Fleishman B. Pasternak: The Poet and his Politics. Cambridge; London, 1990. P. 15.

Раздольная волжская песнь трогает больше мое сердце, чем унылая и надрывная песнь моего народа. Язык моего народа не мой язык, его дух не мой дух, но его сердце — мое сердце»<sup>40</sup>.

Весьма интересный, но выводящий за пределы настоящей работы пример — Бабель. Вопрос сокрытия и признания еврейства обсуждается не внутри самого мемуарного источника, а в смысловом пространстве дневника польского похода 1920 г., с одной стороны, и его художественным переложением в цикле «Конармия» — с другой. Показателен хотя бы тот факт, что Бабель вывел себя в этом цикле под псевдонимом: Кирилл Васильевич Лютов<sup>41</sup>.

И опять Хармс как бы подводит итоги. 21 сентября <1933> г. он пишет: «Интересно, что: немец, француз, англичанин, американец, японец, индус, еврей, даже самоед, — все это определенные существительные как старое *россиянин*. Для нового времени нет существительного для русского человека. Есть слово “русский”, существительное, образованное из прилагательного, да и звучит только как прилагательное. Неопределен русскй человек! Но еще менее определен “советский житель”. Как чутки слова!»<sup>42</sup>. Одновременно Хармс констатирует, что до революции такое определение, очевидно, существовало.

Остается открытым вопрос, как это сложное «я» утверждает себя по отношению к обществу, как оно действует и допускает ли оно свободу воли.

При попытке определить этот аспект самосознания русского человека революционной поры историк культуры сталкивается с парадоксальным, на первый взгляд, явлением. Читатели Ницше, современники символистского взлета и футуристического бунта, чувствуют себя скорее — по выражению В. Хлебникова — «копьями рока», нежели творцами собственной судьбы. В документах личного характера — письмах и дневниках — преобладают образы той экзистенциальной потерянности, которую Н. Бердяев позднее назовет «богооставленностью» человека: «Я в плену у жизни и верчусь, как василек на полевой дороге, приставший к грязному колесу нашей

---

<sup>40</sup> Там же. Н. Устрялов выражает надежду, что русский язык будет объединять советских людей, см. его запись от 12 авг. 1936 г. и 13–14 авг. 1936 г.

<sup>41</sup> Иногда непривычной фамилии достаточно, чтобы вызвать сомнения, тщательно фиксируемые в дневниках, напр., у Пришвина: «Немцы считают мою фамилию за немецкую, евреи за еврейскую, русские не признают за свою, и часто я слышал: “Пришвин — жид?”» (*Пришвин М.М. Дневники 1918–1919. М., 1994. Т. 1. С. 365, в тетради, начинающейся 24 сент. 1918 г.*).

<sup>42</sup> *Хармс Д.* «Боже, какая ужасная жизнь и какое ужасное у меня состояние». С. 212. Сохранена орфография источника.

русской телеги»<sup>43</sup>, — записывает Михаил Пришвин в свой дневник 7 октября 1918 г. Даже такой утопически настроенный ум, как Хлебников, вводит в речь своего alter ego Зангези, героя одноименной «сверхповести», образ, в основе которого лежит та же семантика плена у жизни: «Мне, бабочке, залетевшей / В комнату человеческой жизни, / Оставить почерк моей пыли / По суровым окнам, подписью узника, / На строгих стеклах рока»<sup>44</sup>. Не иначе обстоит дело в философии, даже оставляя в стороне апокалиптиков, которыми Россия была богата во все времена. «Происшедшее ужасающее потрясение и разрушение всей нашей общественной жизни принесло нам <...> одно ценнейшее <...> благо: оно обнажило перед нами *жизнь*, как она есть на самом деле»<sup>45</sup>, — пишет С. Франк в 1925 г. Показательно, что даже такой серьезный мыслитель избегает вопроса о действующем лице разрушения — опять лишь стихийное «оно» и безличные формы вроде «происшедшее потрясение».

Короче говоря, складывается впечатление, будто действующий субъект и вместе с ним и личная ответственность исчезли из истории. В момент переворота действующее «я» содрогнулось от содеянного, застыло в ужасе или слилось с каким-то таинственно-безликим роком<sup>46</sup>. Если верить очевидцам, содеянное зло обуяло русский народ, превратив его в бесприютного изгоя: «Все русские люди, которых я встретил по пути <...> — от фанатика, одержимого большевика гвардейского экипажа балтийского флота, до последнего мешочника на крыше телячьего вагона — имели вид уязвленных, в отчаянии потерянных людей», — наблюдает М. Пришвин в апреле 1918 г.<sup>47</sup>

Историк будущего может предположить, что в начале XX века в России случилось что-то стихийное, «не от руки человеческой», чего никто не хотел. Вот что было: желание приспособиться, осмыслить случившееся, примириться, бороться за осуществление отвлеченных

<sup>43</sup> Пришвин М. М. Дневники 1918–1919. Т. 1. С. 182. Иногда национальная идентичность проявляется лишь *ex negativo*, напр., в форме антисемитизма, как в дневнике И. И. Шитца.

<sup>44</sup> Хлебников В. Творения / Общ. ред. и вст. ст. М. Я. Полякова. Сост., подг. текста и коммент. В. П. Григорьева и А. Е. Парниса. М., 1986. С. 477. Если учесть, что эта повесть закончена за несколько месяцев до смерти поэта, то с полным правом можно о ней говорить как о поэтическом завещании.

<sup>45</sup> Франк С. Смысл жизни. Брюссель, 1976. С. 11.

<sup>46</sup> Аналогичное явление наблюдалось в Германии после крушения «третьего рейха». Американский исследователь С. Падовер после двухмесячных допросов немцев «не обнаружил ни одного фашиста».

<sup>47</sup> Пришвин М. М. Дневники 1918–1919. Т. 1. С. 63; Друскин Я. С. Дневники. СПб., 1999. С. 57.

идей; но то общество, какое существовало в реальности, отрицало даже подавляющее большинство коммунистов. «Все, кого я знаю, особенно коммунисты <...> — живут с таким же трудом, как я», — записывает О. Берггольц 1 апреля 1941 г.<sup>48</sup>

По сути подобная несовместимость запросов и действительности — отнюдь не единичное явление в любой европейской культуре, в частности, русской. Достаточно вспомнить хотя бы крушение романтического «я», не устоявшего перед действительностью, в тридцатые и сороковые годы XIX века. Существенная разница с XX веком в том, что понятие «я» и его достоинство остаются неприкосновенными. Напротив: разграничение с «чернью», с обществом придает личности элитарный статус. В отличие от этого человек XX века, ощутив свою незначительность в огневых валах Первой мировой войны, революции и гражданской войны, настолько перепуган и внутренне опустошен, что знает только выбор между ничего не дающим губительным одиночеством и мощью коллектива. Перестав ощущать себя хозяином не только истории, а даже собственной судьбы, он ждет спасителя. Только безоговорочная идентификация с властью может поднять человека из состояния подавленности, затерянности. Вот как Д-503, которому, по собственному признанию «жутко оставаться с самим собой», переживает псевдо-религиозную литургию поклонения власти в Едином Государстве: «Торжественный, светлый день. В такой день забываешь о своих слабостях, неточностях, болезнях — и все хрустально-неколебимое, вечное...» (с. 141). Поэтому исключение из коллектива, столь желанное для романтиков, выбивает индивида из колеи: «Хочется вполне, до конца стать *своим* в рядах советских людей, советских патриотов, и тягостно переносишь свою постылую изолированность, окружающие тебя взгляды холодной “бдительности”

---

<sup>48</sup> Берггольц О. Из дневников / Вст. ст., публ. и прим. М. Ф. Берггольц // Звезда. 1990. № 5. С. 183. Лояльные граждане переживали состояние, которое психологи назвали бы double-bind (двойной, взаимоисключающей привязанностью): «Многие из моих современников, принявших революцию, пережили тяжелый психологический конфликт. Жизнь их проходила между реальностью, подлежащей осуждению, и принципом, требующим оправдания существующего». (Мандельштам Н. Воспоминания. Нью-Йорк, 1970. С. 178). Распространяется это недовольство и на самых приближенных Сталину лиц. Мария Сванидзе пишет (до 20 нояб. 1936 г.): «Ах, всего не напишешь. А толпа, которая производит впечатление оборванцев — где работа легкой промышленности? <...> За что ордена, почему цены взлетели на 100%, почему ничего нельзя достать в магазинах?...» («Иосиф БЕСКОНЕЧНО Добр...»). Дневник М. А. Сванидзе, родственницы И. В. Сталина. (Отдельные фрагменты за 1933–1937 гг.) / Публ. и примеч. Ю. Мурина // Источник. 1993. № 1. С. 26).

и корректного недоверия...»<sup>49</sup>, — пишет Н. Устрялов в предчувствии катастрофы. Своеобразная эстетика тоталитарной власти, которую Замятин изведаль только в самых скромных ее зачатках, хорошо исследованный феномен. Совершенно неизвестно, однако, насколько она действительно поражала и заражала современников. Удивляет не столько наличие готовности к обожествлению власти, сколько повсеместное распространение такой готовности: анализ дневниковых свидетельств показывает, что она одинаково существовала как в «простом» народе, так и в интеллигенции.

Так, непросвещенный комсомолец Ст. Подлубный пишет 5 января 1934 г.: «Уже давно мне нравятся люди с сильной волей. Все равно, каков человек, — если у него большая сила воли — то он человек хороший»<sup>50</sup>. И даже ученый масштаба Б. Эйхенбаум испытывает двойственные чувства: «Власть есть, конечно, явление неэтическое и потому — злое. Но сила имеет свои законы, и потому нельзя ее просто презирать или считать бессмыслицей»<sup>51</sup>.

Легко понять, что встречи с «Благодетелем» приобретают чуть ли не метафизический характер. У инженера Вяч. Малышева, впоследствии наркома тяжелого машиностроения СССР, проявляется это таким образом: «Ну вот и 1-я сессия Верховного Совета. Незабываемый день. Сколько увидел знакомых лиц, знакомых по фотографиям, а теперь увидел их собственными глазами. Действительно, собрался цвет нашей земли <...>. Но, конечно, исключительную радость и волнение я испытал, увидев тов. Сталина и замечательных Соратников <...>. Так был взволнован виденным, что иногда ничего не замечал вокруг себя <...>»<sup>52</sup>.

Интересно, что критически настроенные деятели культуры, такие как К. Чуковский, не устояли перед «аурой» вождя, по крайней мере до того времени, пока на их семью не обрушилась трагедия. Или подобные панегирики просто «мера безопасности»? «Вчера на съезде си-

<sup>49</sup> «Служить Родине приходится костями...». Дневник Н. В. Устрялова 1935–1937 гг. // Источник. 1998. № 5/6. С. 70, запись от 18 февр. 1937 г.

<sup>50</sup> *Podlubnyj S. Tagebuch aus Mosckau 1931–1939* (Дневник из Москвы) / Aus dem Russischen übersetzt und herausgegeben von J. Hellbeck. München, 1996 (dtv-Dokumente; 2971). S. 147, ср. и S. 129. Обратный перевод с немецкого мой. — Р. Г.

<sup>51</sup> *Эйхенбаум Б. М.* Дневник 1917–1918 гг. / Публ. и подгот. текста О. Б. Эйхенбаум; примеч. В. В. Нехотина // *De visu*. 1993. № 1. С. 14, запись от 1 сент. 1917 г.

<sup>52</sup> *Малышев В. А.* «Пройдет десяток лет, и эти встречи не восстановишь уже в памяти». Дневник наркома // *Старая площадь: Вестн. Арх. Президента РФ*. 1997. № 5. С. 105, запись от 12 янв. 1938 г. Дневник изобилует подобными описаниями.

дел в 6-м или 7 ряду <...>. Вдруг появляются Каганович, Ворошилов, Андреев, Жданов и Сталин. Что сделалось с залом! А *ОН* стоял, немного утомленный, задумчивый и величавый <...>. Я оглянулся: у всех были влюбленные, нежные, одухотворенные и смеющиеся лица. Видеть его — просто видеть — для всех нас было счастьем»<sup>53</sup>.

Наблюдениям, подобным сделанному замятинским Д-503, зативившим капельки пота на лысине Благодетеля и разразившимся истерическим смехом, в реальности и в реальных дневниках места не было и, надо думать, не могло быть.

Государство, коллектив, идеология определяют духовное состояние индивидуума. Отсидев долгие месяцы в камере НКВД, О. Берггольц спустя несколько лет после ареста напишет: «Я круглый лишенец. У меня отнято все, отнято самое драгоценное: доверие к Советской власти, больше, даже к идее ее...»<sup>54</sup>. Н. Устрялов переживает все стадии раздвоения личности, столь хорошо знакомые из записок Д-503. Хотя Устрялов дает себе отчет в ложности своей техники самовнушения («Да, необходима людям какая-то иллюзия “дела” и самообман “смысла жизни”»<sup>55</sup>), он одновременно с исключительной последовательностью старается убедить себя в достоинствах советской системы.

И Д-503, и современники тоталитарных систем не могли не заметить сходство приемов, применяемых в советских политических инсценировках, с религиозным ритуалом: «Судя по дошедшим до нас описаниям, нечто подобное испытывали древние во время своих “богослужений”. Но они служили своему нелепому, неведомому Богу — мы служим лепому и точнейшим образом ведомому» (с. 142). А. Аржиловский, крестьянин Червишевской волости Тюменского уезда, пишет 7 ноября 1936 г.: «Появились распорядители и занялись украшением столовой. Между прочим, *портреты вождей теперь*

---

<sup>53</sup> Чуковский К. Дневник. 1930–1969 / Подг. текста и комм. Е. Ц. Чуковской. 2 изд., испр. М., 1997. С. 141, запись от 22 апреля 1936 г.; подчеркнуто в источнике.

<sup>54</sup> Берггольц О. Из дневников... // Звезда. № 5. С. 183, запись от 26 марта 1941 г. 20 апр. 1941 г. она назовет советские идеалы *храмом оставленным, кумиром поверженным, Мечтой* (с прописной буквы). Берггольц вспоминает строки лермонтовского стихотворения «Расстались мы; но твой портрет...»: «Так храм оставленный — все храм, / Кумир поверженный — все бог!».

<sup>55</sup> Далее Устрялов пишет: «<...> пустейший, но и спасительнейший из всех наших самообманов, имя же им легион. Что-то делаешь, чем-то занят, как-то вкраплен в жизнь большого целого, общества, государства, — и рад. Иллюзия “нужности”. А время идет, и ты следуешь обычному кругу: из ничего — в ничто. Замечательно, непревзойденно сказано у Гераклита: “дитя, играющее песком”» («Служить Родине приходится костями...». Дневник Н. В. Устрялова 1935–1937 гг. С. 72, запись от 4 марта 1937 г.).

устроены наподобие прежних икон: круглый портрет вделан в рамку и прикреплен к палке. Очень удобно: на плечо — и пошел. И вся эта подготовка весьма напоминает подготовку к прежним церковным торжествам... Там были свои активисты — здесь свои. Дороги разные — суэта одна»<sup>56</sup>.

Проведение таких параллелей каралось жестоко, так как обнажало суть системы. Аржиловский был расстрелян в 1937 г., его дневник сохранился в местном архиве органов внутренней безопасности с пометками следователя: второе предложение приведенной цитаты — подчеркнуто красным карандашом. Дневник в буквальном смысле стал «доносом на самого себя».

Заслуга Замятина в том, что, используя прием вымышленного дневника, он впервые (насколько известно) в мировой литературе XX века показал методы живосечения человеческого сознания, скованного небывалым и ранее 1919 г. непредставимых масштабов тоталитаризмом. Нарисован общественный строй, проникающий в самые интимные обстоятельства индивидуального бытия, вплоть до сновидений (Ю. Олеша) или до подсознательного употребления идеологизированной лексики для описания собственного психического состояния. Так, например, упомянутый комсомолец Подлубный без всяких кавычек пишет в своем дневнике 1932 г. о «реконструкции своей жизни»<sup>57</sup>, перенимая программный тогда термин «реконструкция Москвы», т. е. «целесообразное» разрушение церквей и т. д. Выражение Подлубного поражает своей последовательностью, т. к. и он понимает под «реконструкцией» главным образом освобождение от своего «кулацкого» сознания и происхождения — последнее он утаивал от комсомола. Н. Устрялов, расстрелянный спустя два года после возвращения из эмиграции в 1935 г., в своем дневнике постоянно пишет о «генлинии» своей жизни, используя еще одно идеологическое клише эпохи<sup>58</sup>.

<sup>56</sup> Аржиловский А. Дневник 36–37 годов / Публ. и предисл. К. Лагунова // Урал. 1992. № 3. С. 142. Кстати, и Аржиловский мечтал стать писателем.

<sup>57</sup> Podlubnyj S. Tagebuch aus Mosckau 1931–1939 (Дневник из Москвы) / Aus dem Russischen übersetzt und herausgegeben von J. Hellbeck. München, 1996 (dtv-Dokumente; 2971). S. 90, обратный перевод с немецкого мой. — Р. Г.

<sup>58</sup> Ср. «Служить Родине приходится костями...». Дневник Н. В. Устрялова 1935–1937 гг. С. 18, 23, 31, 32, 81. В письме Ю. В. Рудому, процитированном в дневнике, Устрялов пишет: «<...> немногие месяцы пребывания моего в СССР завершают процесс перестройки моего сознания в направлении к генеральной линии партии и советского правительства» — 29 сент. 1935, с. 19. У него, как и у большинства представителей дореволюционного поколения, иногда появляются оксюмороны, когда новые термины сочетаются с несовместимой,

Государство и личность становятся единым организмом. Замятин со свойственной ему прозорливостью не случайно избирает метафорическую оппозицию «кристалл» — «растворение». Это центральный метафорический комплекс романа Замятина. Так создается прообраз самосознания нового поколения, которое отказывается от замятинского «скифства» и вечного бунта как залогов настоящей жизни. Как раз о «растворении» своего «я» в советском обществе мечтает и Устрялов<sup>59</sup>. В. Бэньямин, 9 января 1927 г. размышляющий о возможном вступлении в коммунистическую партию, боится потери «личной независимости», но ощущает и «огромное преимущество иметь возможность как бы спроецировать собственные мысли в данное силовое поле»<sup>60</sup>.

Однако чаще всего преобладает последнее — силовое поле партии и государства. «В бунтарстве всегда — полуправда. Высший тип человека ознаменован — преодолением бунта: Гёте, Пушкин»<sup>61</sup>. Или: «Нельзя, вредно, пагубно — противопоставлять свой индивидуальный рассудок большому разуму государства»<sup>62</sup>.

Кто это говорит — неужели Д-503? Нет, это бывший харбинский эмигрант и возвращенец на советскую родину Н. Устрялов, который в этой записи 20 июня 1936 г. внушает себе оправданность примирения. Язык дневника невольно (в форме выразительных оксюморонов) выдает все внутреннее напряжение, даже насилие над собой, когда автор пишет об «энтузиазме дисциплины», «экстазе дисциплины» или даже «дисциплине-стихии»<sup>63</sup>.

---

напр., религиозной лексикой: перековка души. А. Солженицын считает, что переносное значение слова *перековка* родилось в сталинских лагерях. Ср.: *Ермакова О.П.* Тоталитарное и посттоталитарное общество в семантике слов // *Русский язык / Redaktor naukowy E. Širjaev. Opole, 1997. С. 138.*

<sup>59</sup> «Нет еще надлежащего растворения в том великом целом, радостный смысл которого как будто уже сполна оценен и осознан. Нужно, чтобы это осознание превратилось в инстинкт, стало второй натурой». «Служить Родине приходится костями...». Дневник Н. В. Устрялова 1935–1937 гг. С. 82, запись от 26 мая 1937 г.

<sup>60</sup> *Benjamin W. Moskauer Tagebuch. S. 108.*

<sup>61</sup> «Служить Родине приходится костями...». Дневник Н. В. Устрялова 1935–1937 гг. С. 38, запись от 20 июня 1936 г.

<sup>62</sup> Там же. С. 12, запись от 2 сент. 1935 г.

<sup>63</sup> Там же. С. 18, запись от 25 сент. 1935 г.; ср. также запись от 5 июля 1936 г. Заканчивает Устрялов свой гимн дисциплине нечаянной цитатой из немецкого гимна: «Дисциплина, организованность — über Alles» (нем. в оригинале). Там же. С. 61, запись от 14 дек. 1936 г. Все противоречия своего мышления и окружающей действительности Устрялов разрешает волшебным термином: диалектика. С другой стороны, Устрялов отчетливо понимает синдром «гипноза власти» (Там же. С. 26).

Специфика тоталитаризма, часто ускользающая от внимания, — исключение из общественного сознания позиции беспристрастного созерцателя. Новый строй заставляет каждого быть сообщником: «Одни — вверху, обрызганные кровью, прибивают тело к кресту; другие — внизу, обрызганные слезами, смотрят» (с. 250). Быть либо среди палачей, либо среди жертв — третьего не дано. К тому же, сознание коллективного унижения, коллективно содеянного зла сплачивает общество взаимным чувством вины. Попытки оправдания обычно ограничиваются указанием на безвыходность положения. 25 сентября 1929 г. К. Федин записывает интересный отчет перед самим собой. Речь идет о его поведении на собрании ленинградских писателей по поводу осуждения Пильняка и Замятина осенью 1929 г.: «Правление высекло себя, дало себя высесть. Поступить как-нибудь иначе, то есть сохранить свое достоинство, было невозможно. Все считают, что в утрате достоинства состоит “стиль эпохи”, что “надо слушаться”, надо понять бесплодность попыток вести какую-то особую линию, линию писательской добропорядочности...»<sup>64</sup>.

Резюме Фебина еще два дня после события отражает потрясение: «Я был раздавлен происходившей 22 сентября поркой писателей. Никогда личность моя не была так унижена»<sup>65</sup>.

Чувство беспомощности или, хуже, готовность к обожествлению власти часто приводят к нравственному равнодушию. Остранение казни в День Единогласия в «Мы» настолько удачно, что читатель не сразу осознает, что происходит. Безжалостно-остраненное изображение казни I-330 глазами Д-503 в романе оправдывается «операцией», которой был подвергнут инженер. Истоки концепции данной главы романа в психологическом прозрении опасности извращения личности при тоталитаризме. Но Замятин не мог предвидеть, что действительность превзойдет самые мрачные прогнозы: отсутствие жалости или даже проявление ненависти к репрессированным — не столь редкое явление в последующие десятилетия, как можно ожидать<sup>66</sup>. Отказ от сострадания — это одновременно и отказ от причастности, от потребности думать: «Мы должны окончательно перестать думать. За нас подумают»<sup>67</sup>, —

<sup>64</sup> Цит. по: «...Мне сейчас хочется тебе сказать...»: Из переписки Б. Пильняка и Е. Замятина с К. Фебиным / Публ. Н. К. Фебиной // Лит. учеба. 1990. № 2. С. 94, запись от 25 сентября 1929 г.

<sup>65</sup> Там же, запись того же дня.

<sup>66</sup> Судя по опросам Падоваера, немцы в подобных ситуациях действовали таким же образом.

<sup>67</sup> Цит. по: «...Мне сейчас хочется тебе сказать...». С. 94, запись от 25 сентября 1929 г.

пишет К. Федин. Уставший Н. Устрялов начинает последнюю запись своей жизни словами: «Иногда думаешь: — Как хорошо бы не думать!»<sup>68</sup>. В таком же припадке резиньяции Д-503 заявляет в конце 38-й записи: «Я не могу больше писать — я не хочу больше!» (с. 257).

Единственный выход — это память. Память может воплотиться в религиозных или философских поисках, как в удивительных по своему остранению от конкретного быта дневниках Б. Садовского, Б. Шергина или Я. Друскина, или облечься в форму топографических символов, как Древний Дом в романе или город Одесса в упомянутых записях Олеси и Чуковского. Но потребность в восстановлении памяти касается и каждого нового поколения. Тайная надежда на сочувствующего читателя и боязнь, что этот читатель уже не разберется в многочисленных масках пишущего, не покидали авторов. Н. Устрялов дает как бы скрытое указание-завещание читающему его дневник: «<...> ясно, что поймет эти строки лишь тот, кто сам дошел до жизни такой...»<sup>69</sup>. Наша задача — понять это, спаси Бог, еще не дойдя до такой жизни. Психологический реализм замятинского романа — не худшая основа такого понимания.



---

<sup>68</sup> «Служить Родине приходится костями...». Дневник Н. В. Устрялова 1935–1937 гг. С. 85, запись от 4 июня 1937 г.

<sup>69</sup> Там же. С. 84, запись от 30 мая 1937 г.